



П. В. АННЕНКОВ

Современная беллетристика. Г. Н. Щедрин «Сатиры в прозе», соч. Н. Щедрина

Н. Щедрин известен в литературе нашей, как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно объяснению явлений и вопросов общественного быта. Все помнят его дебюты в литературе: он открыл тогда особенный род *деловой* беллетристики, который сам же и довел потом до последней степени возможного ему совершенства. Его «Губернские очерки» доставили пресловутой Крутогорской губернии и городу Крутогорску такую же почетную известность, какой пользуются другие географические местности империи, существующие на картах. Эта грязная «Атлантида» своего рода умела представить в одно время данные для административной поверки страны вообще и для общественных и нравственных соображений публики в особенности. С тех пор г. Щедрин изменял редко деловому своему направлению, которое так удалось ему при дебюте, и почти никогда не употреблял пера своего на описание чего-либо, лишённого строгого гражданского характера, на какие-либо пустяки, касающиеся судьбы частного, безвестного лица или истории сердца, движимого интересами, которых прямо нельзя связать с интересами всего общества. Г-н Щедрин не знает таких случаев в жизни, которые важны были бы одним своим нравственным или художественным значением; он вполне свободен от сочувствия к эгоистическим радостям, надеждам и страданиям человека, самовольно прорастающим иногда в среде важных стремлений и вопросов эпохи без явного отношения к ней, как прорастают кустарники и деревья на каменных сводах старых построек, не спросясь никого. Все это дает деятельности г. Щедрина какой-то суровый характер, несмотря на откровенный его юмор и на замечательную способность к политической карикатуре и к «шаржу» вообще. Правда, почти рядом с официальным миром Крутогорской губернии г. Щедрин вывел нам другой мир — мир простонародья — и показал признаки умиления,

рассказывая нам об его религиозно-созерцательной жизни, склонности к поэтическим ощущениям долгих, благочестивых странствований, об его простоте в перенесении зол и нищеты и об оригинальном способе его воззрений на призвание человека, на отношения к людям, властям, учреждениям; но такое отступление от отдела, в строгом смысле слова, было один только раз в его жизни. Г. Щедрин, кажется, первый усомнился в истине того рода поэзии, которую открыл за русским человеком, и поспешил стряхнуть с себя обаяние сладкой, но неверной мечты. Впрочем, можно допустить и другое объяснение этому факту. Временное уклонение г. Щедрина от постоянной его манеры было, может статься, только невольной данью, выплаченной им поэтическим элементам жизни, которые, не находя себе места в его обычной деятельности, должны были хоть раз сказаться в ней, и тем с большей силой, чем реже имели случай обнаружить себя. Это явление случайное, особенность, поясняемая самодеятельностью душевных сил, которые творят еще и не такие чудеса с людьми — но к характеристике писателя оно относиться не может.

С той поры, однако же, г. Щедрин все строже оберегал себя от праздных или недозволенных порывов фантазии, наглухо запирает от них свою мастерскую и, надо сказать, все ближе подходил к идеалу *делового* беллетриста, какой может составить себе отвлеченная теория. В последних своих произведениях он простер наблюдение за собой в вышепоказанном смысле почти до аскетизма. Один том собрания его сочинений, следовавших за «Губернскими очерками», — «Сатиры в прозе», недавно вышедший и о котором мы намерены сказать здесь несколько слов, — включает в себе результат наблюдений автора над обществом, беспощадный и во многих случаях очень меткий анализ тайных побуждений, которые управляют мыслями, чувствами, поступками и жизнью обывателей Глупова, этого нового географического пункта, открытого г. Щедриным и отличающегося от других таких же пунктов тем, что настоящих его границ никто указать не может. Прежде всего мы видим тут, что автор уже покинул форму правильного рассказа, которой он еще держался в «Губернских очерках», и изобрел для себя новую, именно: форму повествовательных размышлений. Оно и понятно: ведь настоящий рассказ есть тоже своего рода недозволенное развлечение для человека, занимающегося делом, и не только развлечение, но, по требованиям отчета за всю свою постройку и по требованиям правомерного распределения красок, он есть еще и стеснение. Освободившись от тяжести и ответственности обыкновенного рассказа, г. Щедрин свободно предался анализу, оценке и олицетворению тех элементов общества, которые

он нашел в нем, когда новый моральный принцип под видом крестьянской, административной и общественной реформы насильно вторгся в средину его, спасая и обнаруживая его болезни. Картина, представленная г. Щедриным, есть в своем роде мастерская вещь и как домашняя история общества, — может быть противопоставлена газетной или официальной истории нравственного положения образованных классов в знаменитую эпоху перелома, хотя вопрос — которая из этих историй вернее, остается вполне нетронутым. Трудно и перечислить все подробности щедринского понимания факта. Злоба потревоженных глуповцев, умеряемая только их страхом и привычкой повиновения, панический ужас, побеждаемый, в свою очередь, тайной надеждой на возвращение прежних времен, лицемерие, старающееся спасти остатки погибающих порядков яростным заявлением своей готовности на их преследование, грубость, своекорыстие и насилие, чувствующие, как убегает почва из-под ног их, и взывающие к новому принципу и к новой силе, в одно и то же время, с плачем и со скрежетом зубов, с мольбой о спасении и с проклятиями, — тут все есть, даже и первые зачатки глуповского возрождения в форме молодых администраторов, пропитанных журнальными статейками и отыскавших в своем чтении поводы кичиться перед людьми и презирать целиком провинцию, за исключением ее вечно милой «клубнички»! Публика наша еще и не видала такого прямого, простого и ясного способа относиться к современности, но эта цельность воззрения всего более послужила г. Щедрину. Отсюда он получил свой особенный тон речи, необычайную изобретательность в приискании самого живописного слова для своей мысли и вообще характеристический стиль, чего нет ни у одного из его подражателей.

А подражателей у него было и есть много. Некоторые из них приобрели даже очень крупную известность; но мы не боимся впасть в преувеличение, сказав, что их произведения походят на детский лепет перед мрачно-живописным и юмористически-горьким словом г. Щедрина. Одни из них, не довольствуясь личным опытом и наблюдением, собирали злые предания целой фамилии или нескольких фамилий и воплощали их в одном фантастическом лице, которое получало от этого неестественно преувеличенное выражение, но теряло человеческий образ. Другие, а может быть, и те же самые, награждали одного героя понятиями, суевериями, предрассудками и коварствами целого сословия и пускали его на свет — обременив собственной своей эрудицией и делами многих сотен людей и многих поколений. Тому же процессу создания следовали и новейшие подражатели повествовательного анализа, впервые употребленного

г. Щедриным для определения, по-своему, общественной повести. Но — увы! — одна страница размышлений, указаний и выводов г. Щедрина, даже без всякого признака потрясающего анекдота, сильнее действует на нервы человека, умеющего понимать слова, чем все их кропотливые и даже талантливые разыскания. Это оттого, что факты, как бы страшны ни были и как бы ни были ловко сгруппированы, еще не составляют всего на свете: страшнее и важнее их мысль, порождающая факты, а мысляю-то человека именно и занимается г. Щедрин с особенной любовью и с особенным искусством. Впрочем, и это не оградило бы его от соперников и не упрочило бы вполне его торжества над ними. Можно подражать ему и даже превзойти его в мастерстве добиваться от лиц и событий самых неожиданных признаний. Но есть в нашем авторе сторона, под которую уже нет никакой возможности поддаться. Мы говорим о силе, искренности и достоинстве его одушевления, которое слышится в каждой его строке. Г. Щедрин всегда принимается за свою работу как фанатик этой самой работы. Благодаря этому качеству, он решительно заслоняет собой всех других беллетристов-исследователей нашего быта, и в произведениях его, пожалуй, можно все подвергать сомнению, но сомневаться в его одушевлении или не испытывать влияния его пафоса на себе, кажется нам делом совершенно невозможным.

Крайне любопытно становится поэтому узнать поближе те нравственные источники, из которых рождается одушевление г. Щедрина, доставляющее ему такие преимущества перед последователями, окрашивающее его произведения в особенный цвет и сообщающее им такую резкую физиономию. Сколько нам кажется, в основе его одушевления нет определенного, законченного, установившегося созерцания, и едва ли возможно связать происхождение его с каким-либо продуманным политическим или социальным учением. Намеки, которые существуют в его произведениях на то и другое, или противоречат друг другу, или не имеют тех признаков, по которым узнаются части обработанной системы непоколебимого верования. По нашему мнению, источник этого одушевления кроется в органическом, прирожденном и, стало быть, непреодолимом отвращении к быту, из которого вырос сам г. Щедрин, со всем своим поколением, и в инстинктивной потребности: преследовать его везде, где бы он еще оказался налицо. Для него он враг еще более, чем материал литературной обработки или исследования. При этом, разумеется, нечего ожидать, чтоб автор вздумал заниматься судебским разбирательством недостатков и погрешностей описываемой эпохи или принялся за педантическое взвешивание и обсуждение ее сторон: одного общего

представления ее как мрачного факта, вызывающего и оправдывающего всякого рода отрицание, тут уже достаточно. Что настроение подобного рода способно развить замечательные творческие силы в писателе, доказывается примером г. Щедрина. Мы уже говорили об его тоне, манере и едком юморе, но этого мало: настроение подсказало ему все те эпитеты, прозвища, определения, которые возлагаются автором, словно позорные клейма, на образы, им выводимые, на порядок мыслей, им разбираемый. И здесь еще не кончается дело. Одушевление, полученное этим путем, уполномочивает его на такую смелость языка и речи, на такую откровенность и, во многих случаях, на такой цинизм намеков, какие не были бы приняты публикой ни от кого другого: достоинство и сущность одушевления покрывают здесь все частности. Нельзя требовать от всякой природы, чтобы она умела воздержаться от поползновения делать жертвы вокруг себя, когда она стремится к определенной цели: г. Щедрин и делает их из всех предметов их явлений, которые носят еще на себе мерцание старого, пережитого и осужденного быта, причем, как часто бывает, молчаливость и беспомощное состояние жертв еще способствуют к развитию его мыслящих сил и фантазии. Понятно теперь, отчего любой из черных князьков Африки позавидовал бы нашему автору в умении так позорить своих подвластных, как иногда он позорит своих глуповцев, это олицетворение отсталой части общества, которая вздыхает по недавним порядкам, а вместе и той, которая занята отысканием себе путей к выходу на свет и держится еще между прошлым и будущим, не имея настоящего, в переносном смысле слова.

Но одушевление, какие бы льготы оно ни давало писателю и как бы ни способствовало развитию всех качеств его таланта, находит себе противодействие у читателя, если в образовании этой силы настолько же участвовали закоренелые привычки ума, насколько и прямое наблюдение жизни, если, наконец, для поддержки и питания его необходимо во всяком случае поспешное решение, быстрый и окончательный приговор по всякому вопросу сразу. Явления, забытые при этом или дурно истолкованные, вымещают сделанную им несправедливость тем, что предстают уму читателя в форме молчаливой оговорки и мысленной поправки, и это в то самое время, когда он, по-видимому, расположен безраздельно наслаждаться своим писателем. Мы полагаем, что нет человека, который бы так понял «Сатиры в прозе», как они написаны, и обошелся бы без тайных поправок и оговорок при чтении их, а если есть добродушные люди, не испытывавшие нужды ограждать чем-либо свое суждение при этом, то они не выразумели г. Щедрина и приняли за достоверное указание, за результат наблюде-

ния и обобщения явлений многое из того, что порождено у г. Щедрина единственно складом литературной речи и капризной игрой его юмора. Молчаливая оговорка, тайная, умственная поправка отделяются сами собой из увлекательных страниц названной нами книги, вместе и наряду с ее содержанием, с ее мыслями и образами, составляя как бы их естественное дополнение и необходимую принадлежность. Даже черты глубокого анализа, нередко попадающиеся в ней, получают право гражданства в уме читателя только с помощью тайной оговорки или поправки: черты эти почасту выходят у г. Щедрина из своего скромного звания заметок, облакаются им в образы и начинают жить неестественной, хотя и курьезной жизнью, выдавая себя за главных агентов и двигателей общества. Оговорка возвращает их на свое место и за один раз производит два дела: спасает истину представления и мирит читателя с автором. Таким образом, самостоятельность и достоинство обоих, благодаря мысленной поправке, соблюдены вполне.

Можно спросить, почему автор предоставил читателю доделывать свои произведения и заниматься той работой, которая лежала на нем самом; но ответ ясен: деловой беллетрист всегда может удовлетворить одному какому-либо требованию зараз, как, например, требованию публичного обнажения грязных или опасных путей жизни, но отвечать многообразным потребностям общественной мысли и настоящему ее содержанию уже не в силах. Истинно деловой беллетрист, будь он прозаик, или стихотворец, или драматург (а деловых стихотворцев и драматургов развелось у нас тоже немало), принужден выбирать для своей обработки только самые простые жизненные факты, очевидные и ясные для всех глаз, с одним выражением, не способным меняться и, так сказать, с одной окаменелой миной, особенно удобной для наблюдения по своей неподвижности. Как только предмет получил движение или, по своей природе, не может оставаться всегда в одинаковом, мертвенном положении, а напротив, обнаруживает, хотя в слабой степени, игру жизни, признаки свободы и способности к видоизменениям, он уже превосходит творческие силы делового беллетриста и ускользает от его глаза, если не весь, то доброй и иногда существенной своей частью. Это так верно, что г. Щедрин, обладающий несомненными художническими способностями, всегда употребляет их в дело там, где желает достичь некоторой полноты изображения, и очень часто перестает быть деловым писателем, не замечая того и несмотря на все свое желание оставаться в лоне направления, которому посвятил себя и которому дал нерушимые свои обеты. Он становится тогда менее резок и своеобразен, предчувствует возражения и видимо принимает свои меры против них: презритель-

ная речь и поносящий юмор текут менее изобильными струями; но он тотчас же получает обратно энергические приемы, крутое слово, ослепляющие краски, как только представляется неудержимый соблазн изобразить предмет с одной его выпуклой, простой и, так сказать, наглоочевидной стороны. Низшая порода деловых беллетристов, *pur sang** своего рода, лишенная всех художнических средств, одушевления, таланта и мыслительности г. Щедрина, и не подозревает в нем этой способности меняться. Она уже никогда не испытывает поползновений возвыситься над своей темой, чтоб иметь возможность оглядеть ее целиком и со всей ее обстановкой. Поэтому все сложные явления жизни, образовавшиеся из разнородных, многочисленных и противоположных друг другу элементов, доступны для нее только на одном условии — на условии разложить их на составные части и потом заняться каждой такой частью особо. Этот механический способ справляться с задачей, предстоящей писателю, один только и находится в распоряжении деловой беллетристики, потому что примирить разнородные качества и приметы явления в одном живом образе, в одном живом представлении его способно только свободное художническое созерцание. К тому же деловая беллетристика оказывается постоянно глухой и слепой к промежуточным, смеем так выразиться, явлениям жизни, к характерам, которые стоят посередине крайних типов, к образам, идеям, стремлениям, в которых спутаны родовые черты противоположных физиономий, учений и инстинктов, а между тем эти промежуточные явления составляют всегда труднейшую часть создания, также они составляют и настоящую стихию общежития. По способности подмечать эти промежуточные явления и выводить их на сцену определяется даже достоинство писателя в других странах. Мы говорим это совсем не из ребяческого презрения к деловой беллетристике, заслуги которой, по указанию грубых, вопиющих сторон общественного быта нашего, никогда не могут быть забыты. Мы свидетельствуем только факт, что, по существу самого дела, как бы ни были относительно полезны ее разыскания, цепки и метки ее выводы, произведения, внушенные ею, не способны лечь в основание какого-либо созерцания и дать верные материалы для окончательного приговора по какому бы то ни было несколько сложному вопросу жизни и мысли.

Но есть эпохи, всего более нуждающиеся в деловой беллетристике и, кроме ее, почти ничего более не требующие для удовлетворения своей жажды к самопознанию — это так. Правы ли они или не правы,

* Чистокровный (*фр.*).

здесь не место рассуждать, — довольно, что они есть. Доказательством тому служит сам г. Щедрин и множество других романистов, поэтов, даже историков, которые, конечно, его не стоят. По нашему мнению, ничто так не свидетельствует в пользу предположений, что все они, и преимущественно г. Щедрин, отвечают именно тем требованиям своей эпохи, как это добровольное служение публике, их целям, как радушное исполнение за них литературного *урока* со стороны читателей. Относительно нашего автора, например, читающая публика ведет себя чрезвычайно добросовестно: она беспрестанно поясняет слова автора, мысленно вводит их в меру, как нам неоднократно случалось замечать, проверяет их всеми известными ей явлениями и очень часто находит возможность не отчаиваться там, где для г. Щедрина начинается непробудная ночь. Все это не мешает публике по справедливости любить писателя, который дает ей случай поместить очень приличным и удобным образом всю массу сведений, положительного или отрицательного свойства, накопленных ею самой с течением времени. В некоторых случаях, кажется нам, автор даже сам рассчитывает на пособие с этой стороны — именно во всех тех, когда, окончательно покидая рассказ, он предается вполне одному сатирическому своему одушевлению и выражает его посредством бойких, метких и парадоксальных размышлений. Блюстителем фактов, оправдывающих или ограничивающих его настроение, становится тогда читатель, и каждый из нас должен хорошо помнить ту работу мысли и анализа, которую задавал ему г. Щедрин этими местами своей книги. Мы нисколько не намерены изучать по ней всю любопытную историю отношений, существующих между деловым беллетристом и его публикой неизбежно, или пересчитывать разные роды обязательных повинностей, требуемых первым от последней: один пример уяснит достаточно наши слова. Возьмем для него хоть драматическую сценку «Погоня за счастьем». Тут являются уморительнейшие искатели новооткрытых мест «мировых посредников»¹ с известным жалованием и безобразнейший губернатор, всем знакомый Зубатов, который предоставляет две вакансии, находящиеся в его распоряжении — Тамберлику и Кальцоляри²: так называют самих себя два франта, цвет и надежда Глупова из любимых собеседников г-жи Зубатовой. Трудно и вообразить себе что-либо забавнее этой малой сценки; но для того чтобы иметь возможность наслаждаться всеми ее подробностями, читателю совершенно необходимо устранить из дела вопрос о происхождении мировых посредников, а также поправить отчасти несогласное с историей отсутствие всякого приличия и декорума в соискателях этих мест. Тогда уже он может свободно

отдаться юмору автора, ибо важнейшая задача — спасение весьма существенной стороны факта — произведена им самим заранее. Мы бы не удивились, если бы тот же автор, который написал превосходную сценку, пришел к убеждению, что мировой институт наш грешит излишними претензиями на независимость, которые опасны для правильного хода самого дела, ему порученного, и в другой статье выразил бы мнение о необходимости подчинить его строгому контролю администрации. Деловая беллетристика другого способа овладеть несколькими сторонами предмета, как мы уже сказали, не имеет.

Впрочем (и на этом мы особенно настаиваем), не все образы, факты и представления, заключающиеся в новой книге г. Щедрина, нуждаются в подобной операции со стороны читателя. Есть между ними такие, которые носят прикосновение художнической руки, и отвечают сами на все вопросы, порождаемые их сущностью и смыслом. К ним мы причисляем превосходные типы новых либералов, превратившихся из грубых животных натур в лучезарных исповедников свободы (статья «К читателю»), фигуры ораторов и публицистов, возникших по провинциям вследствие начальнического извещения о том, что дозволено мыслить и требуются гражданские добродетели (статья «Скрежет зубовой») и т. д.

Комическая сила, проявляющаяся как в очерке этих лиц и их рассказе, так и в изъяснении поводов, управляющих ими, одолела тут все возражения, и через них г. Щедрин тотчас же вступает в права художника, которые собственно сводятся на одну привилегию: создания его еще могут быть опровергаемы (хоть это дело и нелегкое!), но не иначе, как целиком, в основной их мысли, и уже никаких оговорок, поправок, снисхождений и уступок не допускают.

Гораздо менее нуждается в них читатель и тогда, когда перед ним развивается в статье одно из самых простых, грубо-ясных и убедительных явлений, как, например, насилие, случай административной испорченности или яркая черта из истории крепостного быта. Всякая работа мысли и эстетического чувства тут умолкает, подавляемая тяжестью одного материального факта, который лежит гнетом над духовными способностями читателя. По отношению к крепостному праву он может дать полное свое согласие даже и плохому автору, если тот добросовестно принялся за изображение его остатков или его подвигов с целью очистить от них общество, не говоря уже о таком ратоборце крепостного права, как г. Щедрин, который разоблачил невероятные психические движения, тайну невероятных мыслей и желаний, какие способно было возбуждать безнравственное учреждение в людях. Другой сборник, обещанный нам г. Щедриным, — «Невинные рассказы» — вероятно,

будет заключать истинно поразительные сцены и картины из темной сферы старопомещичьего быта, которые разбросаны были по журналам. Заметки наши, может быть, в некоторых случаях придутся и к ним; оговорка, может быть, и тут приютилась и исполняет свою обычную службу автору, хотя и в меньших размерах, чем где-либо, разумеется. Одушевление, которое у г. Щедрина покрывает всевозможные уклонения и выносит его всегда торжествующим и правым, несмотря ни на какие погрешности против жизни, совпадало при появлении рассказов из крепостного быта с общественными потребностями, с борьбой всего развитого против призванного и нестерпимого зла. Нужна была победа во что бы то ни стало, и — надо сказать, г. Щедрин бился доблестно за победу, как немногие. Нам гораздо труднее понять, отчего теперь, по окончании дела, в недавних, последних своих произведениях, он снова возвращается к упраздненному крепостному праву, даже к преждебывшим формам его, и возвращается не как строгий историк, а опять с жаром и пылом бойца и сатирика. Он созидает страшные психические этюды, уже без ясной общественной цели, да и без претензии на художническое достоинство. Этюды эти производят впечатление «посмертных сочинений», и даже самая страстность благородного одушевления уже не производит на читателя прежнего действия: ему все кажется, что это старое, подержанное одушевление, оставшееся у г. Щедрина в экономии от прошлой эпохи.

Мы никак не хотим верить, чтоб воображение и творческие силы г. Щедрина уже не могли и жить без крайних толчков, которые доставлял им отошедший порядок (а это замечается у многих его последователей), чтоб прелесть раздражения, сообщаемого очень простыми явлениями доброго старого времени, сделались для него необходимостью. Наоборот, мы искренне убеждены, что он обратится к «невинным» рассказам настоящего времени, хотя явления новой эпохи значительно посложнее предшествующих, не так легко уловляются и исчерпываются, да и не всегда позволяют заменить себя одним одушевлением, как бы оно ни было благородно в сущности. Содействие публики, вызываемое его юмором, наблюдательностью и талантом, конечно, не изменит ему и теперь; но не следует, может быть, упускать из вида и того, что внутренняя правда мысли и изображения должна цениться писателем, по крайней мере, столько же, сколько и превосходные средства изложения, которыми он обладает.

